

DOI: 10.15393/j9.art.2012.336

Иван Андреевич Есаулов

доктор филологических наук,
профессор кафедры русской классической литературы и словесности,
Литературный институт им. А. М. Горького
(Москва, Российская Федерация)
jesaulov@yandex.ru

О СОКРОВЕННОМ СМЫСЛЕ

«СТАНЦИОННОГО СМОТРИТЕЛЯ» А. С. ПУШКИНА*

Аннотация: В статье автор демонстрирует разницу между внешним «изучением» и глубинным «пониманием» художественного текста на материале пушкинского шедевра — повести «Станционный смотритель». «Изучение» не является синонимом «понимания». Немецкие назидательные картинки на стенах жилища станционного смотрителя вовсе не являются сколько-нибудь адекватным аналогом евангельской притчи о блудном сыне, но ее законнически-морализирующим упрощением. Пушкин в своей художественной интуиции следует евангельской логике чуда, а не законнической (в данном случае — бюргерской) логике немецких картинок. Пушкинский финал — светлый финал. Героиня все-таки осуществляет возвращение, хотя и на могилу отца. Она «умирает» только лишь в своей функции дочери станционного смотрителя и «воскресает» как любящий и любимый человек. В прозаическом мире есть все-таки место любви, что вполне сродни чуду в этом сокровенный смысл пушкинского текста.

Ключевые слова: Закон, Благодать, любовь, чудо, смысл текста.

В современных гуманитарных дисциплинах можно выделить два принципиально различных подхода к своему объекту: как к внешнему для самого исследователя предмету, предполагающему то или иное объяснение, и как к феномену, требующему внутреннего понимания. «Изучение» отнюдь не является синонимом «понимания». Если «изучение» возможно как в гуманитарных науках, так и в негуманитарных (и поиски какого-то особого «смысла» в рамках этой научной парадигмы вовсе не обязательны), то *понимание* является прерогативой «наук о духе», как назвал когда-то нашу сферу интересов Вильгельм Дильтей. Понимание же, в отличие от внешнего «изучения», предполагает известное личностное созвучие между предметом понимания и его истолкователем (подробнее см.: [2]).

Каков сокровенный смысл пушкинского «Станционного смотрителя»? Как правило, практически всеми исследователями события повести рассматриваются через призму притчи о блудном сыне. Как мы помним, рассказчик обращает внимание на «картинки», которые «украшали» обитель Самсона Вырина.

Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся

юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец, представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шляфореке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи¹.

На фабульном уровне очевидно кардинальное несовпадение евангельской и пушкинских историй. Самый подробный перечень этих несовпадений представлен в работе Томаса Шоу [4]. Укажем поэтому лишь на некоторые из них. Никакого благословения Дуня не получает. Она не грешна «развратным поведением». Она не «промоталась», как блудный сын, став в финале «барыней» и приезжая на родину «в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською». Но и Самсон Вырин, в отличие от своего евангельского прототипа, вовсе не «выбегает... навстречу», а лежит в могиле, поскольку увоз дочери и отказ Минского вернуть ее отцу очевидным образом ускорил его смерть.

Существуют, конечно, множество интерпретаций пушкинской повести. В небольшой работе нет смысла их реферировать. Например, некоторые обращают внимание на ветреный характер девушки. По словам рассказчика, «маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет», далее следует известное развитие этих разговоров:

В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцелуев «С тех пор, как этим занимаюсь», но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Помним мы и то, что пушкинская героиня прекрасно осознает впечатление, которое она производит на гостей. И в случае с Минским «появление Дуни произвело обыкновенное свое действие», как замечает рассказчик.

Есть и такие интерпретации, в которых утверждается, что в пушкинском тексте нет «блудной дочери», а есть «блудный отец» (см., например: [3, 121—127]). И, действительно, читатель помнит, что Самсон Вырин как будто сам подталкивает дочь к побегу:

[Минский] вызвался довезти ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... «Что же ты боишься, — сказал ей отец, — ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Но зададимся все-таки главным вопросом — состоялось ли возвращение «блудной дочери»? Для ответа на него следует все-таки резко разграничить евангельскую притчу как таковую, представленную в Новом Завете, и этот ряд «немецких картинок», которые сами по себе являются *интерпретацией* притчи, ее внешним *объяснением*, а вовсе

не ее универсальным *пониманием*. Тем более эти «картинки» нельзя толковать как своего рода «подобие» самой притчи. Что означает это постоянное акцентирование немецкого колорита — и в картинках, где блудный сын весьма напоминает немецкого бюргера, и в надписях под ними: «...прочел я приличные немецкие стихи»? Мне представляется, что сама притча при подобной интерпретации попадает в законническое — «бюргерское» в данном случае — поле значений, евангельское *чудо* воскресения блудного сына превращается в моральное назидание. Притча теряет свой *благодатный чудесный* смысл — и становится «приличной» иллюстрацией, моральной — ходульной — историей. Теряется главное: возвращение блудного сына — это вовсе не регулярно повторяющееся действие, которое может быть и законническим назиданием, а *чудо*. Утерян *пасхальный* смысл этого *чуда*.

По-видимому, многие более частные «мотивы» и «сюжеты» лишаются в их литературоведческой интерпретации *собственного* смысла, если пасхальность выносить за скобки этих категорий литературоведения (см. подробнее: [1]). Скажем, сюжет о блудном сыне хотя бы потому вырастает из евангельского пасхального зерна, что герой его действительно *воскрес* — «был мертв и ожил» (Лк. 15:32) — причем его воскресение отнюдь не является частным проявлением *дохристианских* мифологических моделей мышления, поскольку непосредственно вытекает из христианского *покаяния*. Этот же *пасхальный* в своей основе сюжет имеет и субдоминантную ветхозаветную законническую компоненту (не случайно в той же главе речь идет о *ропщущих* книжниках и фарисеях): ропщет также старший брат блудного сына, оскорбленный *пасхальным* веселием и ликованием. Старший брат ставит себе в заслугу вполне законническое послушание («Я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего» — Лк. 15:29), однако он не способен сказать о себе, подобно младшему: «...отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим» (Лк. 15:21), тогда как надежда на воскресение немислима без осознания личной греховности. Старший сын *не преступает* своей роли послушного сына, но, наряду с этим, он оказывается неспособным *пожалеть* и *простить* своего заблудшего, но *раскаявшегося* брата — и уже поэтому являет фарисейскую модель миропонимания: следование лишь законническим запретам («я... никогда не преступал»), ожидание словно бы гарантированной награды и обиженное сетование на неполучение ее («...ты никогда не дал мне и козленка» — Лк. 15:29), что в итоге приводит отнюдь не к покаянию, но к ожесточению («Он осердился и не хотел войти» — Лк. 15:28). Иными словами, старший сын с таким же *осуждением* относится к своему блудному брату, как фарисеи и книжники в начале этой евангельской главы относятся к мытарям и грешникам. Таким образом, жестоко-выйная убежденность в своей правоте в этой притче и является контра-

стирующим фоном к евангельскому чувству собственной греховности, только и дающей надежду на итоговое *воскресение*.

На немецких назидательных картинках старший сын всего-то лишь «вопрошает слуг» о причинах радости в доме. Однако в Евангелии за этим сыном мерцает законническая, ветхозаветная система ценностей. Ведь этот сын не понимает, почему блудный сын получает отцовскую награду, а он — как ему представляется — обойден, ведь он-то ничего не нарушил, он-то не уходил от отца, он-то выполнял все предписанные сыну правила. В итоге этот законник-сын *бунтует* против отца — значит, против Бога. Он не хочет идти на пир, не хочет присоединиться к пирующим, не хочет простить своего брата грешника.

Если Евангелие не было бы Евангелием — с его благодатным духом, а было бы набором *правил* должного морального поведения, то именно старший сын должен был быть примером позитивным («делайте так»), а блудный сын — негативным («так не делайте»). Но евангельская притча не поддается такой линейной логике, она глубже — и парадоксальнее.

Немецкие же назидательные картинки трансформируют смысл этой притчи — до голого набора правил на все жизненные случаи. Обрезается весь внутренний драматизм, вся непредрешенность и тайна этой истории (потому что за всяким чудом кроется некая тайна). Гладкие «приличные стихи» лишь подчеркивают превращение чуда в набор правил поведения, весьма напоминающих «гладкое» поведение старшего сына, который следует уже известным лекалам жизненного пути.

Ошибка Самсона Вырина и состоит в том, что он не допускает чуда. Скажем, чуда любви. Самсон Вырин исходит из того, что его дочь стала «овечкой», которую, наигравшись, непременно *бросит* Минский. Потому он и приходит ее, обесчещенную (согласно законнической системе координат), забрать опять домой, где она — до поры до времени — и являлась своего рода аналогом старшего (послушного родительской воле, но безблагодатного) брата.

Должен заметить, что вообще-то, исходя из установок прозаического, не допускающего чуда, мира, Самсон Вырин абсолютно прав! Дочь станционного зрителя, увезенная из родительского дома вот таким образом, как в повести Пушкина, в громадном большинстве случаев действительно становилась жертвой, той самой «заблудшей овечкой», не имея ни единого шанса на личное счастье с таким блестящим и преуспевающим в жизни человеком, как Минский. Если бы Пушкин следовал не евангельской логике чуда, а законнически бюргерской логике немецких картинок, то его повесть также была бы иллюстрацией очередной «гибели» очередной «бедной овечки». Но тогда бы Пушкин не был Пушкиным.

Если бы вместо сокровенной глубины русской словесности мы бы имели плоскую назидательность, так оно бы и было.

Но что делать, в пушкинском тексте — не так. Почему же не так? Потому что жизнь не поддается рассудочным расчетам и ходульным схемам. В жизни — как показывает пушкинский мир — есть место чуду — как исключению из обыденного порядка закономерностей. Есть место и любви, которая — если это действительно любовь — тоже всегда сродни чуду. Минский просто-напросто полюбил Дуню. Но ведь и блудный сын просто-напросто вернулся домой. Однако вернулся он *другим* человеком, преображенным, а не тем, который уходил. А вот старший сын, который остался, остался тем же, таким же. Поэтому блудный сын «выше» своего послушного брата, как Новый Завет выше Завета Ветхого.

Минский совершенно сознательно, вступив в сговор с доктором, рационально выстроил свое поведение по лекалам соблазнения поправившейся ему невинной девушки. Которая, впрочем, и раньше не была совсем уж недотрогой. Только одно и он не учел в своем рациональном замысле — что он всерьез полюбит Дуню — и она станет в итоге его женой.

Если бы замысел Самсона Вырина вполне реализовался и он бы отнял у Минского «свою», как он выражается, Дуню, вернув ее насильно домой, то его дочь повторила бы судьбу старшего — безблагодатного — сына из евангельской притчи. Только вот сына, который совершил к тому же и тяжкое прегрешение, но не претерпел преображения, подобно младшему, а так и остался ветхим человеком. Закон в таком случае оказался бы «выше» Благодати.

Пушкинский же финал — иной. Самсон Вырин потому неправ, что пытается законническими лекалами мерить судьбу собственной дочери, ориентируясь на самом деле не на евангельскую притчу — с ее чудом возвращения — а на ее оскопленное, обрезанное, законническое, бюргерское подобие: для него собственная дочь — не личность, которая может все-таки быть счастливой с любящим человеком, а всего только *дочь станционного смотрителя*, т. е. определяется лишь своей социальной ролью. Он и пытается вернуть ее именно к исполнению подобной роли, чего сама Дуня явно не желает. Ведь Минский прав, утверждая: «Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния».

Но Дуня все-таки осуществляет в итоге возвращение, хотя и на могилу отца. Пушкинский финал не является ни мрачным, ни трагичным. Это светлый финал. «Славная барыня» — говорит рассказчику мальчишка. Да и сам рассказчик уже «ни о чем не жалел», узнав эту историю. Дуня умерла как выполняющая функцию дочери именно «станционного смотрителя» и ожила как любимая и как

любящий человек. В этом и состоит сокровенный смысл «Станционного смотрителя».

Примечания

- * Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 11-04-00496а.
- ¹ Пушкинский текст здесь и далее цитируется по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1964. С. 129—144.

Список литературы

1. Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 560 с.
2. Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. СПб.: Алетейя, 2012. 448 с.
3. Шмид В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина». СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. 371 с.
4. Shaw J. T. Pushkin's «The Stationmaster» and the New Testament Parable // *Slavic and East European Journal*. 1977, vol. 21, pp. 3—29.

Ivan Andreevich Esaulov

*Doctor of Philology, Professor,
Department of Russian classical literature and philology,
Maxim Gorky Literature Institute
(Moscow, Russian Federation)
jesaulov@yandex.ru*

ON THE SACRED MEANING OF «THE STATION MASTER» BY ALEXANDER PUSHKIN

Abstract: In the article the author demonstrates the difference between the external “study” and the internal “comprehension” of the artistic text on the example of Pushkin's masterpiece — *The Station Master*. *Studying* and *comprehension* are not synonymical. The German didactic pictures on the walls of the station master's home are by no means an adequate analogue of the Parable of the Prodigal Son, but rather its moralistic simplification. In his artistic intuition Pushkin follows the evangelical logic of miracle and not the legalistic logic of the German pictures. In the end, the heroine finally performs a return, albeit it is her father's grave that she returns to. She herself ‘dies’ in her sole function of being just a daughter to the station master, but at the same time is ‘resurrected’ as a person who loves and is loved. In the prosaic world there is a place for love, which can be compared to wonder — such is the deep meaning of the Pushkin's text.

Keywords: Law, Grace, love, wonder, meaning of the text.

References

1. Esaulov I. A. *Paskhal'nost' russkoy slovesnosti* [*Paskhal'nost' of Russian Literature*]. Moscow, Krug Publ., 2004. 560 p.
2. Esaulov I. A. *Russkaya klassika: novoe ponimanie* [*Russian Classics: a New Understanding*]. Saint-Petersburg, Aleteya Publ., 2012. 448 p.
3. Schmid V. *Proza Pushkina v poeticheskom prochtenii: «Povesti Belkina»* [*Alexander Pushkin's Prose in the Poetic Interpretation: “The Belkin Tales”*]. Saint-Petersburg, Saint-Petersburg State University Publ., 1996. 371 p.
4. Shaw J. T. Pushkin's «The Stationmaster» and the New Testament Parable. *Slavic and East European Journal*, 1977, vol. 21, pp. 3—29.